

Анатолий КОНОВАЛОВ (д. Хмелинец Елецкий р-он Липецкая обл)

КУСОК ХЛЕБА С МОЛОКОМ



1

Так совпало...

Он вышел из больницы накануне того дня, как тридцать лет назад похоронили отца. Тогда, ранней солнечной и теплой весной, гроб с его телом опускали в еще не оттаявшую землю. А за соседними оградками сельского кладбища люди поминали усопших родственников. Наливали в стограммовые граненые стаканы водку, поливали из них на могилы, ставили наполненные той же водкой стаканы на уступы памятников и накрывали их кусочками хлеба. Потом выпивали, не чокаясь, обильно закусывали, еще наливали и

вновь закусывали. Вспоминали только добрыми словами тех, кто лежал почти на двухметровой глубине в земле, а души их вроде бы витали рядом с живыми и благодарными родственниками. Такой существовал с незапамятных времен обычай. Было это на православный праздник Красная Горка.

Не случайно Валентин Васильевич все это вспомнил...

... Несколько дней назад острым воспалением суставов дала о себе знать подагра. Он не мог наступать на ноги, в них будто десятки иголок вонзили. Поднялась температура, а по телу волнами пробегал озноб. Его положили в стационар районной больницы. Первые трое суток он ничего не ел и лишь изредка делал несколько глотков минеральной воды. Сон приходил к нему на короткие обрывки времени и был больше похож на дрему. И вот в какое-то такое мгновение к нему с небес на светлом-светлом облаке спустился отец и подал ему бутылку молока и кусок, размером с ладонь, ржаного хлеба:

"Это твоё лекарство, сын..."

Валентин Васильевич потянулся за подарками отца, но сразу же проснулся.

Он работал главой администрации района. Не успели его разместить в одноместной палате больницы, как к нему уже чуть ли ни в очередь стояли с пакетами фруктов, мясных деликатесов, соками жена и дети, подчиненные, словно он в палате лежал не с подагрой, а от голода и истощения умирал. Забили холодильник всем этим до отказа. А ему ничего в горло не лезло.

После сна, в котором к нему прилетал на облаке отец, он удивил жену, пришедшую в очередной раз его проведать и опять с соками и фруктами.

— Прошу тебя, унеси все это обратно. Принеси мне бутылку молока, только купи его у крестьянки, и кусок ржаного хлеба. Молоко обязательно в бутылке принеси...

— Валь, что с тобой? — широко раскрытые глаза жены смотрели на него с испугом.

— Ничего. Хочу молока и кусок хлеба...

Супруга в этот же день исполнила его желание. А он с таким аппетитом накинудся на хлеб, который запивал молоком из горлышка бутылки, что у жены, глядя на него, даже слюнки потекли. А он откусывал как-то особо от ржаного ломтя, держал лодочкой ладонь у подбородка, не позволял ни одной крошке упасть мимо нее. Собранные крошки осторожно отправлял в рот и вновь присасывался к горлышку бутылки...

При этом у него ярко-ярко вспыхнул в воспоминании случай далекого детства.

2

Рос Валька как и все деревенские ребята послевоенного времени. Достатком семьи в их селе, да и, наверное, по всем российским весям, друг от друга не отличались, а вот бедностью и жизнью впроголодь были на одно лицо. С малолетства дети помогали взрослым с домашними заботами управиться: на картофельных грядках с сорняками повоевать, в летнее время за птицей присмотреть, чтобы грачи цыплят или гусят не задрали, ребятам постарше доверяли коров пасти.

Мать Вальки работала телятницей на ферме колхоза. Отец был служащим. По отцу их семья считалась семьей служащего. В этом и была единственная разница в семейном положении Вальки от других его сверстников.

... Отец хотел, чтобы сын столяром стал, таким же, как он, а, может, если Бог позволит, и лучше. Хотя сам работал лесником. А столярничество, как всем заявлял не без гордости, это песня для его души. Да и лесником Василий Андреевич стал случайно, по воле завихрений судьбы.

До войны считался одним из лучших краснодеревщиков Ельца. Работал в железнодорожной торговой организации, делал витрины, прилавки, двери, оконные переплеты в магазинах. Хотя, если бы ему кто-либо в глаза сказал, что он это "делал", обиделся бы надолго. "Вязал" — это было бы нормальной оценкой его труда. Он действительно "вязал" неспешно из дерева изделия, словно елецкие кружева, которые и считал песней для души.

Его жена Екатерина Николаевна в довоенные годы работала санитаркой у глазного врача в "Красном кресте" — так в народе называли первую городскую больницу. Но для ее души была песня на "другой мотив" — она в свободное время родственникам, друзьям и их детям шила верхнюю одежду. Швеей на фабрику индпошива принципиально не пошла. Там надо было работать на потоке, неизвестно кто ее пальто или телогрейку будет носить. А она хотела видеть радость в глазах тех, особенно женщин, на чьих плечах окажется одежда, будто вылитая ее руками по размеру и по фигуре человека. Когда видела, что после ее обновы люди красивей становились, на песни тянуло.

Жили супруги до войны в однокомнатной, в девять квадратных метров, квартире двухэтажного дома. Никаких удобств в таких домах не было. Туалет, вода — все на улице, во дворе. Но Василий Андреевич и Екатерина Николаевна были молоды, красивы, счастливы и трудолюбивы. Да и никто тогда о каких-то там удобствах особенно и не задумывался, если решили ребеночка народить, а, может, и не одного. Но Бог, то ли когда свою щедрость людям разносил, их почему-то сторонкой обошел, то ли за какие-то грехи не давал супругам заветной радости — быть родителями.

А вскоре Василий Андреевич ушел на советско-финскую войну. Потом ему пришлось до мая сорок пятого топать чуть ли не до самого Берлина. Возвратился он после всенародного ликования в честь Победы в Елец с несколькими ранениями, контузиями,

пусть штопанный-перештопанный в госпиталях, но главное — живой! Пришел к своему дому, который снился ему на фронте, хотел обнять сильными руками-тисками жену, зацеловать ее до смерти. Но вместо дома увидел развалины. В него попал в декабре первого года войны немецкий снаряд. Соседи подсказали, что его Катя нашла приют в деревне у своей матери, километрах в двадцати от города.

И он, обгоняя свои мечты о скорой встрече с женой, отправился пешком в ту деревню.

А когда осенью сорок шестого года родился Валя, фронтовик к крошечной хате тещи прирубил из дубовых бревен еще одну большую по тем временам комнату — в целых пятнадцать квадратных метров. Без работы Василий Андреевич сидеть не мог. В деревне же строительных организаций не было. Оставшиеся в Ельце в живых после войны друзья подсказали ему пойти работать в лесхоз лесником. Иного-то выбора не было. И он стал охранять леса, которые находились в округе нового места жительства его семьи, и закладывать посадки лиственных и хвойных деревьев. Но про песнь души — "вязание" столярных изделий — забывать и не собирался. Песня-то, она всегда в липких сумерках жизни выручала, душу теплом наполняла.

И почему-то решил Василий Андреевич, что сыну он обязательно передаст секреты своего мастерства, такого краснодеревщика из него сотворит, что сам в немощной старости будет ему белой завистью завидовать и гордиться его золотыми руками.

Тем более, Валька частенько в мастерскую свежим и желанным ветерком влетал. Нравился ему запах опилок, стружек, лишь столярный клей неприятно ноздри щекотал. Когда отец делал заготовки для будущих рам или дверей, сын приставал к нему:

— Дай, пап, мне постругать дощечку.

Василия Андреевича его просьба радостью душу обволакивала, мечту о будущем сына окрыляла. Он садился перекурить на табурет, сворачивал огромную сигарку, самокрутку из табака-самосада, жадно и с удовольствием до опьянения затягивался крепким дымом, клал корявые и жилистые руки на колени и с еле заметной улыбкой отвечал ему:

— Ты, сынок, сначала покажи, как умеешь мастерскую от опилок и стружек убирать. Потом присмотрись, где и какой инструмент лежит, не щекочет ли ему бока пыль. Он ведь, как и наши руки, чистым должен быть и ухоженным, тогда и в работе покладистый и послушный будет. Ты в уборку душу вложи. В нашей столярной работе это важно. А коль одно научишься с душой делать, то и в другом этому правилу не изменишь.

Сын смотрел на отца, мало что понимая в витиеватых для него словах. Ему бы постругать что-нибудь, а тогда можно и уборкой заняться. Но отец неприступно стоял на своем: пока уборщицей потрудись, а до рубанка или фуганка время подоспеет. В свою очередь Валька думал, что не мужское это дело — веником мести, ведь ему уже стукнуло целых пять лет.

Как-то он подслушал и надолго запомнил: мать упрекала отца за то, что тот делает заказы односельчан на загляденье, но медленно, да и семье от того проку мало. Потому-то и вызвался Валька отцу помогать — стругать доски, ясное дело, чтобы работу ускорить и "проку" семье прибавить. Об этом, сделав лицо серьезным и важным, и высказал ему.

Василий Андреевич похлопал ласково по плечу сына:

— Ах, ты, мой помощник золотой! Только не приучился я, сын, работать наспех. Каждая рама, каждая дверь — это же мои дети.

— Они мне сестры, да?

Отец захохотал:

— Конечно, нет. Но они из моих рук к людям отправляются. Значит, мои тепло и ласку должны сохранить, которые я вложил, когда их вязал. Только тогда в окнах от них светлее будет, а холод даже в самые сильные морозы в избы не пропустят. А что мать про какой-то там "прок" напоминает, ты ее не слушай. Это она так шутит. Да и вяжу я рамы или двери людям для того, чтобы видеть блеск радости в их глазах...

На селе после войны жили уныло, серо, впроголодь. Она, война-то проклятушая, выкосила чуть ли не в каждом дворе мужика: у кого отца, у кого сына, а то и всех сразу. Не давали зачахнуть деревне женские руки — многожильные, с кожей на ладонях, которая не стиралась ни под натиском дерева, ни железа. Бабы из последних сил детей на ноги ставили. А баба, она ведь во всем свою женскую природу проявляет. Бог ее и саму красотой наделил, и крест желания красиво жить нарек нести. Хотелось им заставить свои домишки новыми рамами улыбаться или добротной дверью к себе в гости зазывать. Но их желания чаще всего на неоглядную даль вперед возможностей забегали.

Бывший фронтовик это подмечал, в душе радовался, что его землячки от горя душами не завяли, стараются из нужды выкарабкаться. Ну, не мог он с деревенских баб за свою работу деньги брать. А вот мешок в своей душе для их "спасибо" с удовольствием и широко раскрывал.

Пережив мучительный голод 1947 года, редко какая семья не держала в своем подворье главную кормилицу — корову. Была она и в семье лесника. Тем более, ему по положению выделялся солидный участок в лесных угодьях для заготовки корма домашним животным. И однажды Василий Андреевич решил взять Вальку на сенокос, чему тот накануне вечером несказанно обрадовался и возбужденный долго не засыпал.

Солнце только начинало зажигать капельки росы на кончиках травинок. Легкий июльский ветерок лишь набирал в свои легкие тепло. В доме густой темно-серый мрак нехотя и медленно растворялся, молочно светлел. Отец, не зажигая керосиновой лампы, тихо притронулся к боку сына, сказав вполголоса:

— Валя, вставай.

Мальчику сон мешал глазки открыть. Он перевернулся на другой бок и пробурчал:

— Угу...

Отцу стало жалко Вальку от постели отрывать, но надо. И Екатерина Николаевна тут как тут в мужские дела вмешалась:

— Вась, пусть ребенок спит. Какой от него помощник? Одна морока...

Василий Андреевич на слова жены заулыбался:

— Кто рано встает, тому Бог подает. А он — мужик, значит, будущий наш с тобой кормилец. Пусть привыкает зарю трудом встречать, — и чуть сильнее, чем раньше, потряс сына за плечо. — Вставай, соня...

Тот вяло поднялся с кровати, кулачками попробовал разбудить глаза. А когда еле разлепил ресницы и отворил их, увидел, что отец и мать стояли перед ним и чему-то радовались, глядя на него.

— Быстро ополосни лицо водой и в путь. А то всю росу проспим...

Первые шаги по утренней тропе Вальке давались с зачерпыванием пыли носками тапок, сшитых матерью из плотного брезента. Отец подбадривал его:

— Ты, сын, шаг шире делай. Солнышку в глаза попробуй заглянуть. Он, сон, знаешь, как ее пронырливых лучей боится. А хочешь, давай какую-нибудь песню затянем, птиц перепоем. Вон они как нас на покос веселыми трелями провожают, хорошую погоду обещают...

Валька молчал. Он-то, может, чуть-чуть и проснулся, а вот его язык в разговор вступать никак не желал. Сын посмотрел с завистью на отца, который шагал широко, голову держал высоко, глаза ухитрились солнечные лучи ловить и заигрывать с ними. Отец

ростом ниже среднего, с телом, в котором будто кроме жил ничего не было, тогда Вальке казался высоким. Может, потому что он, Валька, своим сверстникам росточком заметно уступал, к тому же худой был, как лозинный побег весной.

У Василия Андреевича на левом плече приютилась коса. В правой руке он нес узелок, связанный из женского платка, из него выглядывало горлышко бутылки, закупоренное самодельной пробкой из бумаги. Что еще спряталось в узелке, мальчик не знал.

Они пришли на большую опушку, с северной стороны обрамленную темно-зеленым дубовым лесом, а к югу переходящую плавно в луг с пологими склонами. Отец повесил узелок на сук. Сорвал пучок травы и накрыл ею торчащее горлышко бутылки. Он-то, лесник, хорошо знал, что за ними уже зорко наблюдают шумливо стрекочущие сороки, которые не прочь добраться острыми клювами до узелка, проверить: нельзя ли из него чем-нибудь поживиться съестным. А трава надежно скрывала припасы от чужих, птичьих, глаз, кроме того, она была своеобразным временным холодильником — сочным, росисто-ледяным.

Василий Андреевич вынул из-за солдатского пояса брусок, почиркал им вдоль полотна косы. Зачем-то поплевал на ладони, притер их с удовольствием одну к другой. Выдохнул громко:

— Ну, коси, коса, пока роса...

Валька уже успел где-то на дороге к сенокосу сон потерять. Теперь он с интересом наблюдал за отцом, который, казалось, забыл о его существовании. А тот до предела то влево, то вправо так водил плечами вместе с руками, крепко держащими косу, что они оказывались за спиной. Потом полотно косы на какое-то мгновение исчезало с шипением в траве, которая на левой стороне от отца тут же собиралась в жирный изумрудно-сочный и ровный рядок.

Валька почувствовал себя неловко: отец косит, а он-то для какой такой модели на этой опушке нарисовался. Не стерпел во рту язык без пользы держать:

— Пап, ты траву стрижешь, а мне мух ловить?

Не переставая удлинять травяной рядок, отец ответил весело:

— О, сынок, у тебя работа предстоит поважнее моей.

Валька, не представляя, что же это за дело такое его ждет не дождется, в душе немного заважничал. Деловито и твердо спросил:

— Какая?

— Ты иди впереди меня и камни собирай, а то, не ровен час, о них косу затуплю или сломаю. Чем тогда траву косить?

Сын мигом оказался впереди отца.

— Я их, пап, как кур с огорода, махом сгоню...

Отец усмехнулся. У него где-то внутри за сына гордость зашевелилась: для мальчика кнут не нужен, если что-то он ему сделать поручал.

— Я и не сомневался. В твоих руках, как и у матери, все горит.

Камни Вальке, как назло, попадались редко, но он продолжал бороздить острыми глазенками траву. Спугивал с цветов бабочек, жуков, мошек-букашек. Босыми ногами оставлял на притоптанной траве змеевидные следы. Отец его специально заставил

тапки сбросить, росой ноги обмыть, отбелить их и, словно румянами, покрыть. Уверял сына, что роса через ноги из организма все болячки распугивает, они в будущем неприятно потеть не будут.

Потом, когда занятие по сбору камней ему надоело, да и те от него куда-то попрятались, он пробовал гоняться за птичками, которые неожиданно выскакивали из травы и чиркали чуть ли не перед самым его носом, так ни одной и не догнал, только устал маленько. Но отдыхать не собирался. Отец косит, рядками поляну и косогоры расшил, как по линейке. А он что? В тенечке дрыхнуть будет? Никогда!

— Пап, камни все кончились, давай я за тобой траву подбирать буду...

Тот вытер рукавом рубахи пот со лба, перевел дух.

— Пусть в рядах высохнет, тогда и подгребать ее будем. А сырая она в кучах загорится.

Вновь плюнул на ладони, потер их друг о друга и продолжил рядками травы поляну расчерчивать.

Валька ничего не понял: "Как это сырая трава «загореться» может?" Но с вопросами отцу надоедать не стал. Чуть передохнул. Взял длинную палку и попробовал водить плечами и руками как отец. Но так их закрутил назад, что не устоял на ногах и плюхнулся в траву, словно ему кто-то подножку подставил.

"Вот чудно! — подумал растерянно. — А папа, сколько косит, ни разу на землю не грохнулся..."

Быстро, чтобы отец не заметил его конфуз, встал и начал бегать по скошенному бугру, как ни в чем не бывало. Спотыкался. Кувыркался. Потом юркнул под тень дуба, когда солнце голову подпаливать стало.

А отец смахивал рукавом рубахи пот со лба и продолжал косить, будто усталость его пугалась и далеко стороной обходила. Он решил "перекур" сделать, когда солнце, видимо, и его макушку перегрело, а время незаметно к обеду подлетело. Не грех после работы, которая словно окунула рубаху в воду, и перекусить.

Василий Андреевич снял с сука дуба узелок, который спрятал под пучком травы.

— Поработали мы с тобой, сынок, на славу, пора и трапезой заняться.

— Чем, чем?

— Что бог послал отведать.

А у мальчика давно уже желудок по еде тосковал, внутри живота что-то подсасывало.

Отец аккуратно развязал узелок. И он превратился на глазах Вальки в скатерть-самобранку, как в сказке, которую иногда перед сном ему читала мать. На ней стояла бутылка молока, к ней присоседились два больших ломтя свойского, матерью испеченного ржаного хлеба, два куриных яйца и несколько кусочков сала, напоминающего цветом спелую солому перед жатвой. Василий Андреевич объяснил сыну, что это оно с прошлой осени, когда боровка зарезали, как бы "ржавчиной" покрылось, созрело, значит, в соли. Ох, уж эти взрослые! Сколько же в их словах непонятной для Вальки премудрости: то трава, с которой еще солнышко росу лучами собрать не успело, "загореться" может, то сало, словно железка какая, "ржавым" стало...

Отец с хитроватым прищуром смотрел на Вальку. А тот жадно накинул на ломоть хлеба, ел его, как говорят в деревне, "всухомятку", но с таким аппетитом, что чуть-чуть скулы сводило.

Василий Андреевич опять удивил сына. Он жевал каждый кусочек хлеба, откусанный от ломтя, не спеша. А перед тем, как его в рот отправить, держал левую раскрытую ладонь у самой бороды, ни одной крошке упасть не позволял.

Валька, немного подумав, и свою ладошку к бороде поднес. Появившиеся на ладошке крошки тут же в рот отправлял. Они тоже такой вкуснятиной были!

Отец с радостью это заметил, посоветовал:

— Ты, Валь, хлебушек-то молочком запивай, вкусней будет.

Попробовал тот после очередного, наспех проглоченного куса хлеба к горлышку бутылки присосаться. От удовольствия глаза закрыл. Он слышал не раз, что слаще меда ничего на свете не бывает. Неправда! Все ж хлеб слаще! Особенно когда его запиваешь молоком, да еще из бутылки. Ему почудилось, что молоко в то мгновение было с запахом цветов, травы, которую только что косил отец, и его ласковых рук. А хлеб? Он таял во рту, его и жевать-то не надо было.

3

Более пятидесяти лет незаметно растворились во времени с того дня.

Он на Красную Горку шел по кладбищу с горбами могил, с улицами из оград, внутри которых напоминали живущим людям памятники о том, что под их тяжестью покоится тот-то и тот-то, когда на этом свете появился, когда в загробное царство навечно ушел.

Думал: "Какой мудрый все же был народ, что этот праздник назвал Красной Горкой". Действительно день был красный, весенний, как-то по-особому оживленный воздухом, красным и огромным солнцем, птичьими переливами, ветерком, пробующим заигрывать с робко-зеленым дымком на ветках деревьев. И настроение у него было красивое, веселое.

Здоровался Валентин Васильевич с посетителями могилок усопших родственников, и с ним все здоровались. Не часто ведь на их старом кладбище, на окраине почти вымершего села можно было увидеть главу администрации района.

Он нес в руках узелок из светлого женского платка, из которого торчало горлышко бутылки, заткнутое самодельной пробкой из бумаги. Подошел к небольшой оградке, в которой соседствовали два памятника — его отцу и матери. Тут же были деревянные скамейка и небольшой квадратный столик.

Валентин Васильевич поставил узелок на столик. Развязал два узелка на платке. На столике оказалась своеобразная скатерть, на которой стояла литровая бутылка молока, большой кусок ржаного хлеба и стограммовый стаканчик. Валентин Васильевич налил в стаканчик молока, приблизился к двум холмикам.

— Здравствуйте, папа и мама! С Красной Горкой вас! — говорил он тихо, а у самого при этом в горле соленый ком застрял, и голос чуть дрожал. Вылил молоко на могилу отца, сопровождая это словами:

— Утоли, папа, жажду на том свете, точно так же, как на сенокосе. Помнишь? Конечно, ты все помнишь. Иначе не явился бы ко мне в больницу и не принес с небес бутылку молока и кусок хлеба. А знаешь, я ведь быстро потом на ноги встал...

Возвратился к столику, налил еще один стаканчик молока, вылил его на могилку матери.

— Ты нас, мам, тогда на сенокос собирала, хлеб тот почти воздушный и вкусный-вкусный в русской печи испекла. От коровки нашей молоко в узелок поставила. Спасибо тебе за все!..

Потом он налил до краев очередной стакан молока, аккуратно поставил его на выступ памятника отцу и накрыл его ломтем хлеба.

Сел за стол. Взял кусок хлеба и начал от него откусывать, предварительно поднес сложенную лодочкой ладонь к бороде. Собравшиеся крошки на ладони отправлял в рот и запивал их, закрыв глаза от удовольствия, молоком прямо из бутылки...

Люди в соседних оградках смотрели на него, удивлялись и ничего не понимали. Они-то в это время поминали покойников по-старинному обычаю: пили водку и обильно ее закусывали...